

Воспоминания

Л. С. ПОЛАК

БЫЛО ТАК...*

От редакции

Лев Соломонович Полак — видный ученый, специалист в области физики низкотемпературной плазмы, физической кинетики и синергетики. При этом он был и остается одним из ведущих историков науки, сохранившим замечательные традиции С. В. Вавилова и А. Н. Крылова и передавшим их последующим поколениям историков естествознания.

Л. С. Полак — автор фундаментальных трудов по истории вариационных принципов физики, истории квантовой механики, по широкому кругу проблем истории физики и механики XVIII—XX вв. Под его редакцией изданы труды классиков механики и физики: Ньютона, Гамильтона, Кирхгофа, Планка, Шредингера и др. Его имя также хорошо известно постоянным читателям нашего журнала: он член редколлегии ВИЕТ, автор и комментатор многих историко-научных публикаций. Большой интерес у читателей вызвали очерки воспоминания Льва Соломоновича «Было так...» (ВИЕТ. 1992. № 1—3).

Предлагаем вашему вниманию еще несколько очерков из той же серии. Можно сказать, что перед нами ряд эпизодов или несколько страничек социальной истории отечественной науки советского периода. Лагерная судьба нашей интеллектуальной элиты... К сожалению, эти страницы нашего недавнего прошлого нельзя ни вычеркнуть, ни заменить другими: было — так! И хочется верить, что так — не будет.

Так начинался этап

Всякий переезд, передвижение связаны с новыми впечатлениями, знакомством с чем-то ранее неизвестным, с какими-то эмоциями, духовными импульсами, — но в системе лагерей, в системе ГУЛАГа всякое перемещение ужасно, убийственно, бесчеловечно и уничтожительно. Вот о таком перемещении, которое носит двусмысленное название этап, я и расскажу.

Даже выход из зоны (временный, конечно), ощущение движения (временного), ощущение крошечного элемента «свободы» — все гаснет, подавляется ужасом, тупостью, презрением к людям, ко всему человеческому, которыми пропитан этап.

Этап, т. е. переброска заключенных, охраняемых соответствующими частями — военными и полувоенными, бывает двух типов. Этап — из лагеря в лагерь, и этап — из следственной тюрьмы в лагерь. Может быть еще этап — из тюрьмы в тюрьму, но он практически не отличается от этапа из тюрьмы в лагерь.

Сначала я расскажу об этапе из тюрьмы в лагерь, поскольку именно с этого начинается биография типичного заключенного. Он уже осужден, он едет отбывать срок. В лучшем случае (если выживет) — то «до звонка». С чего начинается этап? С бесконечно унижительной, мерзкой и для заключенного, и для солдата процедуры обыска. Обыска, имеющего целью не только отнять у этапиремого последнюю тряпку, последний кусок хлеба, но и унижить его, показать ему, что он почти не человек. Даже с собакой так не обращаются,

* Печатается с небольшими сокращениями.

если она не бешеная, как обращались с заключенными во время обыска, который предшествует этапу из тюрьмы в лагерь. Он получил срок, потерял всякую надежду на то, что его арест является ошибкой и его завтра-послезавтра выпустят на волю. Он знает уже и по перестукиванию, и по рассказам, что он выбыл из числа людей, у которых есть некое будущее. Нет будущего у заключенного. Есть «десять лет», «восемь лет» или — у счастливицков — «пять лет»... Больше десяти лет — только молитва, странная молитва кому-то за то, что не расстреляли сразу (правда, нет уверенности, что не расстреляют завтра или послезавтра). А пока — жить, жить, жить, выжить как-нибудь. И вот первый акт — обыск перед этапом из пересыльной тюрьмы в лагерь.

«Раздевайтесь!». Ты голый, вещи лежат в стороне, на скамейке. Холодное, вонючее помещение — огромный зал (я описываю зал в пересыльной тюрьме в Ленинграде, на Константиноградской улице). Огромный зал, где одновременно сто или двести человек — я не знаю точно, там не до того, чтобы считать. Ты голый, дрожишь, ты вонючий, неровно остриженный, лишенный человеческого облика, стоишь перед одетым в форму солдатом. Он производит осмотр. Если он немного педант или где-то рядом проходит его начальник, то он выполняет всю программу. Если нет, то он делает вид, что все в порядке, и поскорее сбывает тебя с рук: ему все это тоже противно. Забирают все, что есть мало-мальски ценного; естественно, забирают все, что может быть использовано как какое-то орудие для перепиливания решеток. (Хотя бластные всегда ухитряются провозить даже лезвия бритв.)

Вот идет начальник, он ходит между рядами как маятник, смещаясь по залу, и смотрит, выполняется ли инструкция. Я думаю, что ни один солдат не выполнял бы ее, если бы ему не вдалбливали ее как обязательную программу к действию. Производится полный осмотр. При мне у моего соседа нашли золотые часы. Зачем они ему были нужны, трудно сказать. Может быть, это была какая-то память, может, награды, — нашли спрятанные в промежности. Отняли. Это вдохновило других, обыск вели (некоторое время) по всем правилам. Самая мерзкая часть и для солдата, и для заключенного: «Наклонись! Раздвинь ягодицы!». Солдат смотрит не спрятано ли чего-либо там. Как он себя чувствует, я не знаю. А вот как себя чувствуем я и мои друзья — знаю. Ощущение совершенно чудовищное, тут не подходят слова — оплеванный, униженный. Нет. Это состояние... Не люди они. И уже не человек — ты. Вот эта процедура, может быть, нарочно затягивается. «Погоди, стой... руки!» — чтобы ничего не было спрятано в подмышках... «Открой рот. Высунь язык!» — чтобы под языком не было лезвия.

После такого вступления ты одеваешься. При этом не надо забывать, что брюки уже ни на чем не держатся. Пояс давно отобрали, пуговицы обрезаны. Хорошее белье исполнители этой омерзительной операции забирали себе. И ты с маленьким узелочком, где лежит краюха последнего тюремного завтрака, где пара темных носовых платков и носков... Зимой — пара теплых вещей, пальто, летом — тапочки (это зависит от того, когда ты арестован, а к началу этапа может наступить и другое время года). Если следствие шло «тяжело», тебе не дадут возможности получить что-либо с воли.

Вот загнали в вагон. Здесь тоже могут быть два варианта: телячий вагон или «стольпинский», так сказать, классика русской тюрьмы. Вентиляционное окно (30 на 20 см) забрано решеткой и отверстие в полу. В вагоне с двух сторон нары, посередине двери, как у любого товарного вагона. Вместо 40 человек набивают, слава Богу, 60—70. Слава Богу — потому, что так теплее. Но зато атмосфера такая, что хоть топор вешай — пот, моча, грязь...

И вот зимой — в этап, в вагон («сорок человек, восемь лошадей»), в летних тапочках на север, в 40-градусный (в лучшем случае — в 20-градусный) мороз. Поехали!

Сколько мне довелось путешествовать под лозунгом: «Наше дело рабочее-крестьянское: нас везут — мы едем»... А состав, как правило, на две трети, а то и больше состоит из уголовников...

Дальше не хочется писать, перечитал — гадко на душе.

В трюме

Эта история происходила в 1937 году, почти в самом начале моей тюремно-лагерной эпопеи.

До Соловецкой тюрьмы некоторое время, не очень долго, я был в Лужевецкой тюрьме. А для того чтобы попасть (географически) в Соловецкую, надо было от местечка Кемь (происхождение этого названия нецензурное, приписывается фольклором Петру Великому) плыть на парходике. В песне поется: «Повезут нас на север далекий, всем известную станцию Кемь».

Пароходишко этот не имел специального имени, а назывался просто СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения. Эти лагеря еще не были переименованы в тюрьму (может быть, соответствующая бумага не успела дойти). Нас с дебаркадера грузили на этот пароходишко, в трюм, почти по вертикальной лесенке. Воздух в трюм поступал через люк, а позже — через щели, ибо перед отплытием люк задраили. Когда я спускался по этой вертикальной прямой (не витой) лестнице, в трюме было еще свободно. А с ходом погрузки набилось людей как шпротов в банке. И поначалу свистел морской ветер, и чувствовался соленый воздух, и долетали брызги... Все это создавало какое-то захватывающее дух ощущение свободы — по крайней мере, возможной.

Заметьте, ведь мы не знали, куда нас повезут. Маршрут «экскурсии» не объявляли. Вековая мечта заключенного, лагерника — колонизация или поселение. И тут я услышал, как два пожилых человека (я-то был молод) говорили на какую-то политическую тему. И я «завелся»: мне захотелось у этих людей — а они были среднетипичные — узнать, в чем же дело. Я подошел и спросил:

— Скажите, пожалуйста, вы вот здесь... вы знаете, почему?

— Знаем.

— А я вот не знаю пока, за что я здесь. Потому что за те несколько слов, которые я обронил, можно было дать (теперь это звучит удивительно) три года, пять лет, но почему «десять плюс пять с конфискацией»?

Оба молчали, смотрели на меня. Это не боязнь. Какая тут боязнь, все имеют свои сроки. Увеличение срока страшно, когда просидишь уже половину. А тут — какая разница? Ну просидишь на неделю больше.

Я спросил:

— Ну скажите, Вы троцкист?

— Нет.

— А кто же Вы?

— А вот мы и спорим: мой друг — правоверный большевик, он считает, что все правильно, несмотря на то, что он здесь, а не там. А я — децист. И я тоже считаю, что все правильно, только с другой точки зрения: происходит перерождение партии, и то небольшое, в чем мы, децисты, согласны с троцкистами, состоит в том, что происходит термидор. Это была, как я позже узнал, распространенная среди политзаключенных точка зрения.

— А что такое децист? — поинтересовался я.

— Это внутри партии, это, правда, звучит комично, потому что «внутри партии» — это мы вот здесь с вами, в тюрьме... А Вы в партии состояли?

— Нет, я в партии не состоял.

— Вот видите, а я в партии с 1904 года... А децизм — это демократический централизм. Децисты — это группа, фракция, которая боролась за то, чтобы в партии можно было говорить и дышать свободно. (Сейчас я понимаю — эти децисты были, так сказать, предшественниками демократии и гласности. Но, правда, все это внутри партии. Партийные организации превыше всего!)

— Но чего же вы, децисты, хотите? Какова (на современном языке, конечно) ваша программа?

— Свобода взглядов внутри партии.

— А вне партии?

— А вне партии — партия все делает правильно.

— То есть расправа с эсерами, дело Промпартии... Все же знают, что...

— А все правильно. Это враги, это буржуазия.

Тут я говорю:

— Значит, вы возвращаетесь к моей любимой проблеме, которая у меня возникла, когда я читал «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. В этой книге есть небольшая история о том, как какой-то студент, интеллигент в пенсне, пытался пройти в некое учреждение, только что возникшее, и уже с охраной. На посту стоял не то матрос, не то человек с ружьем. Между ними произошел разговор. Интеллигент просил пропустить, а солдат:

— Нельзя.

— Почему?

— У тебя нет пропуска.

— Но зачем пропуск? Мы же теперь в свободной стране (а дело происходило в ноябре 1917 года).

— Нет, нельзя.

— Да почему?

— Есть два класса: пролетариат и буржуазия. Ты не пролетариат? Тогда ты — буржуазия, а мы с буржуазией воюем и всех их перестреляем.

— Я не буржуазия, студент я...

— Таких нет, есть только два класса — пролетариат и буржуазия.

Тогда я сказал моим собеседникам:

— Вы, значит, на этой точке зрения? Есть пролетариат и буржуазия, и в партии пролетариата нужны какие-то улучшения, свободы, а буржуазию всю, включая ту, что мы считаем буржуазией, ликвидировать?

— Конечно.

— Тогда децисты интересны для партии и совершенно безразличны для нас. А Вы разве не интеллигент?

— О нет, я не интеллигент.

— А кто же Вы?

— Я сейчас, конечно, не пролетарий, но до 1904 года был пролетарием. А потом стал профессиональным революционером.

— Но ведь профессиональный революционер звучит, примерно, как профессиональный налетчик...

— Ну и что, правильно. Налетчик должен быть профессионалом, чтобы хорошо делать свое дело. А я — профессиональный революционер. Наши расхождения — внутри профессиональных революционеров, это Вы правильно говорите. Народа они не касаются.

Тем временем молчавший собеседник сказал:

— Ты своим децизмом разрушаешь партию, то есть то, что ты сам ставишь во главу всего. И то, что ты, децист, здесь, — это правильно. А вот то, что я, большевик, здесь, — это вот неправильно.

— Но как же это может быть? — Я пытаюсь возражать, произношу какие-то мутные слова... Начинается известный мотив: разберутся, отделат зерна от плевел...

— Значит, — говорю, — вас выпустят, а меня нет?

— А почему тебя — нет?

— Да ведь я не большевик, не интеллигент... просто даже не знаю, кто. Я просто жил, кое-что мне не нравилось. Пожалуй, это все. Вот спросить тех, кто рядом: кто тут за что?

Обычно отвечают: «А тебе какое дело?». В тюрьме и лагере не очень принято выяснять... Именно такая реакция была и в тот раз:

— А тебе-то что?

— Хочу понять, партия сажает только не своих или и своих?

— НКВД — не партия.

— А что такое НКВД?

— Правовой орган, а я юрист. (Откуда только таких слов набрались? Слово «право» тогда вообще отсутствовало.)

— Какой юрист?

— Я по образованию юрист, а работал в молочном тресте, юрисконсультom.

— Ну и что, Вы считаете, что все происходит так, как должно происходить?

— Да, — отвечает, — власть взяли в свои руки люди, которые никогда об этом и мечтать не смели, и они сразу помешались.

— Так что, мы сидим из-за сумасшедших?

— Ну не в том смысле, что они психически ненормальные, а ошалевшие.

— И что же, это, наверное, пройдет?

— Да, пройдет, но когда — никто не знает. Я не доживу, а Вы, быть может, еще и доживете.

В это время подходит один (свободное пространство уменьшалось на глазах) и говорит:

— А как, по вашему мнению, эсеры? Я вот, например, эсер.

Ему отвечают, что эсеры — это замаскированная буржуазия. А я добавил:

— Буржуазия, пролетарии... Давайте поговорим о чем-нибудь веселеньком!

И тут децист подвел итог:

— Какое веселье? Мы уже не жильцы.

— Как не жильцы? Я еще собираюсь выйти в срок. А может быть, и досрочно.

— Блажен, кто верует!

Все это время люди продолжали спускаться по лестнице, становилось все теснее и теснее. Трюм уже битком набит людьми, и наконец кто-то наверху крикнул: «Больше нельзя, полно!» Полно! Уже нельзя ходить, передвигаться, все стояли, прижавшись один к другому.

Проходит какое-то время, какое — кто знает. Психологически — одно, астрономически — другое. И вдруг мы чувствуем, как пароход ползет по дну. А по палубе перекачиваются волны. И первая мысль у людей — потонули. И самое страшное — ощущение полной беспомощности. Не смерть страшна, умереть можно, хотя и не хочется. Страшна беспомощность. Ничего нельзя сделать. Даже в буквальном смысле слова — нельзя пошевелиться.

Спустя некоторое время становится трудно дышать и слышно, как по палубе бежит вода, — резонанс хороший. Впечатление, что мы сидим на дне. Не хватает воздуха, сейчас начнется смерть от удушья. Крик в одном углу трюма, стон — в другом. Кто-то крикнул: «Умер!». Потом мы узнали, что двое умерли от разрыва сердца.

Вдруг мы услышали, как развинчивали люк. Постепенно начала просачиваться вода, и, наконец, когда открыли люк, оказалось, что мы не утонули, а сели на мель. Хлынула вода. Раздался крик: «К лестнице не подходить! Не шевелиться». А как мы можем шевелиться, когда невозможно двинуть ни рукой, ни ногой. И тут набежавшая волна подняла наш пароходик, и он поплыл дальше. Как только он поплыл, охрана немедленно опять задрала люк, и мы остались там, как в консервной банке.

Не знаю, что стало с этими людьми: с большевиком, децистом, юристом. Когда мы прибыли на Соловки, я попал в камеру с другими людьми.

Лагерная мозаика

Как кусочки смальты разного цвета и размера создают в целом некое единство, так и эти рассказы разной величины, содержания и разного стиля возможно дадут представление о ненастоящей, призрачной и в то же время мучительной лагерной жизни... Хотелось, чтобы эта «мозаика» была воспринята как некая попытка передать атмосферу жизни — саму нашу жизнь.

Шпалорезка

После болезни некоторое время я возил мертвецов на захоронение. Но поскольку я был еще очень слаб, а держать меня больше на «захоронительных обрядах» было нельзя, друзья устроили меня на шпалорезку, на которой работали только бандиты, отбывшие значительную часть срока, уже расконвоированные. Шпалорезка — это пила с электричес-

ким приводом, которая из исходного дерева, так называемого «хлыста», делала шпалы определенной длины и сечения. Меня поставили в качестве приемщика-контролера, это называлось почему-то «вахтером». Мои обязанности состояли в том, что я должен был измерять шпалы, затем молоточком, на котором были рельефные цифры (сделано тогда-то, проверено), ударить по торцу, поставив клеймо. После этого шпала считалась принятой. Другие люди погружали ее на дрезину и отправляли туда, где они использовались в строительстве внутрилагерных узкоколейных дорог.

Я приступил к работе. Работа, как говорили в лагере, непыльная, хожу себе и постукиваю. Утомления никакого, погода хорошая. Радоваться бы жизни, черт возьми, но вижу — все, кто работает со мной на шпалорезке, смотрят на меня волками. Впечатление такое, особенно от одного мрачного здорового детины, что он бы меня с удовольствием прирезал, если бы не боялся получить еще больший срок, а то и «вышку». Никак не могу понять в чем дело, и настроение поэтому какое-то тяжелое. Почему они меня воспринимают так враждебно?

Наконец я не выдержал, нервы есть нервы. Отозвал в сторону одного, который казался добрее остальных. И говорю: «Слушай, в чем дело? Почему все на меня так смотрят?». Посмотрел он на меня, помолчал и говорит: «Ну, идем. Я тебе покажу». В каком смысле «покажу»? «Что ты мне покажешь?». Но он ко мне относился сравнительно мягко, и я не имел оснований подумать, что он меня «пришьет» или что-нибудь в этом роде. Отходим в сторону, где остались лежать штабелем несколько десятков шпал, сделанных до моего появления на шпалорезке. Смотрю, на торце выбито как полагается. Я говорю: «Ну и что тут такого?». Он: «Подожди». Обходим кругом. На другом торце выбито то же самое. При старом приемщике они каждую шпалу сдавали два раза! Поэтому у них всегда было перевыполнение. Шпалы потом куда-то уходили или ложились под колею и исчезали. Ничего дальше проверить было нельзя.

Увидел я это и говорю: «Спасибо, брат. Что же вы мне сразу не сказали, я третий день мучаюсь». Вышла шпала, новенькая, из-под циркулярной пилы. И пошел я, как говорится, на глазах у изумленных зрителей: зайду с одной стороны, ударю (шпалы я никогда не мерял, это же смешно, это только полагалось), зайду с другой — еще раз ударю, чтобы ошибки не было. Это я делал — выработку создавал!

И в тот же день, в маленький перерыв, когда сварили кипяток, и с лагерной пайкой стали его пить, я был приглашен к общему бревну, на котором этот обеденный перерыв справлялся. После этого я жил припеваючи, обнаглел настолько, что уже и стучать сам не хотел, заставлял их стучать этим молоточком по обоим концам. К сожалению, эта счастливая жизнь продолжалась только десять дней. Потому что желающих попасть на эту работу — если можно назвать это работой — было очень много.

Вот так я был приемщиком-контролером на шпалорезке, и к моим многочисленным профессиям прибавилась еще одна.

Штабс-капитан

Однажды стоим мы на разводе, и предстоит нам идти в лабораторию нефтепергонного завода. И мой сосед говорит: «Посмотри — новенькие». Стоит бригада — сразу видно, что это не лагерники: некоторые одеты еще не в бушлаты второго срока, не в эти лагерные страшные шапки.

— Рано утром пригнали этап, в котором для тебя много приятного.

— А в чем дело, — спрашиваю, — чего ты ко мне пристал?

С утра ведь настроение тяжелое, вставать не хочется, думаешь о предстоящем 10-часовом рабочем дне, и мир кажется до мерзости зеленым и похожим на жабью кожу.

— Посмотри, — говорит он, — на того человека. Ты знаешь, кто это? Я тебе сейчас скажу — это известный философ. Соавтор книги «Борьба на два фронта против меньшевистствующего идеализма и механистического материализма».

— Ну а мне-то какое дело? Я со всяким (я смягчаю текст) дерьмом иметь дела не хочу. По мне — пропади он пропадом.

— Нет, подожди! Нам известно (а в лагере тоже есть свои каналы информации), что он подписал показания человек на тридцать членов своей организации, выдуманной, конечно.

— А его соавтор?

— А соавтор процветает. Стал, кажется, академиком.

Считалось, тот соавтор написал донос на этого соавтора, а уже из этого соавтора выбрали список участников контрреволюционной троцкистской или какой-то еще организации. Стоит их бригада метрах в пятнадцати от нашей... Говорят мне: «Вот, покажи, как ты к таким людям относишься». Подхожу я к «соавтору» и спрашиваю:

— Это правда, что ты подписал на тридцать человек?

— Я штабс-капитан, — отвечает, — я должен был подписать ради спасения своей жизни, а то меня расстреляли бы.

Я ударил его по лицу тыльной стороной ладони. И пошел обратно. Потом обернулся, посмотрел. У него по грязному лицу, обросшему черно-седой щетиной, текут две большие слезы. И мне жалко не стало. Не стало.

Пропущенный день

В то время он был красивым высоким человеком лет сорока. По его собственным словам, он понравился следователю потому, что его фамилия была Ваничкин. Следователь говорил ему, что Иванов видел много, Ивановых — тоже, а вот Ваничкиных не встречал. И поэтому дал ему всего пять лет.

И вот окончился срок. «По звонку» он должен был освобождаться 21 июня 1941 года. Надо было пойти в управление лагеря, уже за зоной, получить там паспорт и тогда спокойно уезжать. Радость освобождения велика, хотя лагерь ему нетяжело достался: он просидел значительную часть срока в качестве счетовода, регистратора, на таких небольших «придурковатых» должностях. И вот — свобода, возможность уехать на Большую землю. И 21-го он со своими вольнонаемными друзьями (друзья завелись — он уже почти вольный) запил от радости. И пили они 21-го, потом в воскресенье, 22-го, очухивались и услышали по радио, что началась война. Поэтому, когда он 23-го пошел за документами, его обратно в зону — в силу вступил мобилизационный план, и его статья не подлежала освобождению. Хотя эта статья была очень скромная — КРА (контрреволюционная агитация). Он имел пять лет, очень по-божески.

И всю войну (приблизительно 1400 дней) он просидел в лагере. Напиться бы ему, да нечего выпить... Однажды напились метилового спирта, ослепли, один умер... Он боялся выходных дней. На работе он все-таки что-то должен был делать, иначе пайки не получишь. А в выходной день в лагере делать-то нечего. Были такие лагеря (я недавно прочел), где даже концерты случались. Мне в таких бывать не довелось. Он искал слушателя, а никто слушать его не хотел, всем своего хватало: горя, обид, мыслей об утраченном, о невозвратном. И к вечеру начинал выть. По-настоящему. Не плакал, а выл. А ведь это же в бараке — кругом люди. И вот кто-нибудь подходил к нему и говорил: «Перестань выть». Затем следовал мордобой.

Так продолжалось пять лет, и наконец, через два или три месяца после Дня Победы, пришел день его нового освобождения. Ему надо выходить на свободу. А он свихнулся. И вместо свободы попал в сангородок, был такой в Ухтижимлаге. Был и отдел для психически больных. Как это ни странно, их было немного (или, может быть, чтобы не терять рабочую силу, врачи не ставили таких диагнозов). Он попал туда, и в один, как говорят в романах, прекрасный день его нашли мертвым на кладбище, обнимающим тумбу на чьей-то неизвестной могиле (кресты не разрешали ставить). Вот так. День-то был не тот, жизнь пошла не по колее, и пропал человек.

Повезло

А вот другой случай. Повели заключенного на расстрел. А это был день рождения палача. Ведут приговоренного, рассказывали, вниз по лестнице, в подвал. Сзади идет «расстреливатель», что-то говорит и пистолет уже достал. И по привычке, спустившись на нескольких ступенек, стреляет в затылок. Но пьяный он, шатается, руки дрожат, и пуля попадает не в затылок, как полагается, а только ранит.

От боли и неожиданности (хотя неожиданность тут весьма условная) заключенный упал и потерял сознание. За «трупом» прислали с носилками двух заключенных, которые увидели, что он живой. Позже один из них рассказывал, как они спорили. Один говорил: «Ведь мы можем вынести его, и он... исчезнет». А другой: «Если узнают, то нас с тобой расстреляют». Решили все-таки вынести. Погрузили на подводу и повезли туда, где безымянное захоронение. Там они сбросили тело, сунули ему в руку пайку хлеба (что я считаю немалым героизмом по тем временам) и оставили его. А он, придя в себя, ушел. Куда? Не знаю. Правда, куда он мог деться? Может быть, его снова забрали. Может быть, он жив, счастливый, как тот, что бежал из Бастилии, а после этого прожил чуть ли не 80 лет. Тогда, в XVIII веке считалось, что из Бастилии бежать нельзя.

Не пойдё!

Он попал в лагерь на восемь лет. В 1936 году не все получали десять, у некоторых были семь и пять лет, а вот у него — восемь. Был он портной, причем великолепный. Об этом я сужу по тому, что он работал в костюмерной одного из академических театров, а шил в основном на советских дипломатов. Был это глубоко верующий еврей. Поэтому по субботам он на работу не выходил. Тогда УРБ (учетно-распределительное бюро — это заключенные) избивали его чудовищно. И все-таки на работу он не шел. Мы уговаривали его. Нет. В его жизни это было важно. Он не мог существовать иначе.

Он танцевал для нас еврейский национальный танец «Фрейлахс», это было по пятницам, а по субботам его избивали так, что мы его еле отхаживали. И если воскресенье было выходным, он весь день лежал. В конце концов ему сломали два ребра. Он жил, но очень ослабел от этих систематических побоев. Они не были напрямую связаны с тем, что он был такой... Нет, дело — в нарушении режима! Сегодня один человек не идет на работу, завтра — пять, а послезавтра — пятьдесят. Восстание!

И вот однажды, чтобы избавить его от этих мучений, ребята взяли его подмышки и буквально на руках вынесли за зону вместе с шедшей на работу бригадой. Когда его выносили, он уже потерял сознание. А когда пришел в себя и увидел, что он «на работах», упал на колени, запел какую-то песню. Он покрыл голову куском грязного, рваного, вонючего вафельного полотенца и пел... Мы были тогда на торфяной выемке тракта Ухта-Крутая. Это такой поселок — Крутая. Потом он упал, и его не стало.

«Шаг влево...»

Поздняя весна, трава, скоро зацветет тайга. Весной она неописуемо красива... Как-то вечером мы возвращались с работы. Надо было пройти больше восьми километров. Мы шли по пять человек в ряд или по четыре, бывало по-разному. Мы делали выемку в торфянике, шли мокрые, а до тепла еще далеко. Нас сопровождали две собаки и два стрелка (это бывало не всегда, собак не хватало). Один из стрелков был известен как «дурной» всему нашему небогатому окружению из внешнего мира — это были вахтеры на выходе, иногда каптеры, лекпомы.

Перед тем как вести нас на работу или обратно, охранники произносили сакральную формулу: «шаг влево, шаг вправо...». Когда дело доходило до слова «считается», психологический автомат выключал слух — уже приелось, каждый раз одно и то же. Думаю, что это одна из черт человеческой психологии — то, что повторяется многократно, перестает восприниматься.

Среди нас был один недавно прибывший, хлебнувший все, что полагалось на допросах, больной, но без температуры. Наверное, он был уже не жилец, его шатало, поэтому мы его ставили в последний ряд, где его под руки вели соседи-заключенные. А иногда ставили его с краю: ему хотелось чувствовать, что он не мешает товарищам, стремящимся обратно в зону, где есть на кухне пайка, баланда и другие вещи, которые после работы составляют основной смысл жизни заключенного в лагере.

В тот день мы заметили, что он начинает «отваливаться» направо, несмотря на то, что сосед держит его за руку. А «дурной» говорит классическую фразу: «Не нарушай, не к теще на дачу приехал». У того, может, что-то с сердцем, может быть, он уже умирал. А «дурной» поднимает винтовку и в упор стреляет ему в голову, голова вдребзги, и нас обрызгало мозгами и кровью. Даже до меня долетело, хотя я шел ряда за четыре от этого несчастного.

Он рухнул без звука. Полное молчание, все остановились. Второй охранник был все-таки человек, он закричал: «Что ты делаешь, зачем стреляешь, он же не убежит!» Не знаю, показалось это или нет, но ничего человеческого не осталось в лице «дурного», только обычный мат и слова: «Вперед, пошли!» Ему кто-то из рядов кричит: «А тело-то надо все-таки взять!». «Не ваше дело, пошли! Шагом! Шагом!». (Он не говорит: «Шагом марш!» — это военная команда.)

Идем. Что можно сделать против двух вооруженных людей со страшнейшими псами, немецкими овчарками, специально обученными. Убитый остался лежать. Пока не дошли, не получили свои пайки на кухне, баланду в ржавые котелки из тонкой жести — ни звука, ни слова. Казалось даже, что никто уже и не дышит. Это были люди, которые и в других местах, будучи на фронтах первой мировой войны, гражданской войны, смерть видели, но — не так и не такую.

Стрелка судили, суд его оправдал. Было «доказано», что тот сделал больше шага в сторону, и по уставу охранник имел право применить оружие. Не обязан, но имел право. Его оправдали и, понимая, что его нельзя здесь оставить, тут же отправили в другой ОЛП (отдельный лагерный пункт) этого же лагеря, но далеко отстоящий от нашего. Как мы узнали, он просил, чтобы его перевели в другой лагерь. Но это было слишком сложно.

Там он прожил всего три недели.

Свой суд

В лагере существовал тайный суд, который «культурные» лагерники прозвали судом «Фемы» — так назывались тайные судилища в Германии в XIII—XV веках. Долго, мучительно долго суд собирал материалы на подозреваемого, пока не выносил приговор — забыть или «кончить». Тогда при свете копчушки, ночью, стаскивали человека с нар, накрывали бушлатом, — и все. Это если он из лагерников. А ведь убивали и вольных вне зоны — неведомо где и как. Неведомо — потому что из зоны выйти было нельзя. Обычно поймать никого не удавалось, свидетелей не было. Участники суда менялись. Мне довелось быть один раз судьей. И того, которого судили, судили за дело, все было документами доказано. Надо сказать, именно потому, что смерть ходила рядом, человеческая жизнь, как и на фронте, очень высоко ценилась. Она ничего не стоила для командиров и охраны, но была высочайшей ценностью, — может быть неосознанной, — для самих заключенных.

Заключенный чувствовал дыхание близкой смерти: нельзя скрыть, что собирали материалы, узнавали. Целая процедура, чтобы не нагрешить (как теперь говорят). Перед заседанием (если это можно назвать заседанием) он ползал по нарам и показывал всем пронесенную им в лагерь фотографию жены и двух маленьких детей.

Существование «осужденного» обычно заканчивалось этой же ночью.

Кто-то во что-то всегда верил

Увидим ли мы мир? Будем ли мы жить? — спрашивает каждый заключенный. Наверное, если бы это было в наше время, в лагере проводили бы — а может быть, сейчас и проводят — опросы заключенных, собирали бы данные: столько-то высказались «за», столько — «против». Недавно я услышал по радио, опросили 150 случайных людей на улице: «Во что вы верите?» Из них 100 ответили: «Ни во что». А в лагере мы верили. Верили по-разному, но верили. Во что? В то, что придет день свободы. Одни верили в то, что те, кто засел в НКВД, будут изгнаны и заменены настоящими коммунистами; другие верили, что Сталин сдохнет, и вместе с ним все это полетит к чертям; третьи верили, что придет Гитлер со своей армией и будет создавать подразделения русской антикоммунистической армии (но таких было мало). Многие (и я в том числе) подавали заявления с просьбой отправить на фронт, особенно когда фашисты были под Сталинградом (но меня не взяли: и статья «плохая», — хотя штрафбат практически ничем не отличался от расстрела, — и истощен я был чрезмерно, ветром шатало). Верили в разное, но у всех вера была. Вера — всегда во что-то недоказуемое. Но не верить было нельзя. Самое страшное, в представлении заключенного, это — увеличение срока, хотя бы и небольшое. Нельзя второй раз... Другое дело, если ты успел побывать на воле. Но в лагере, не выходя, остаться, как бы мы теперь сказали, в самом основании социальной пирамиды — немислимо. Надо во что-то верить. Не было в истории человечества эпохи, когда бы все ни во что не верили. Кто-то во что-то всегда верил!

Мрачная получилась мозаика... И все-таки просветы остались...

* * *

Мечтаю

Мои дорогие читатели.

Я думаю, что среди вас не найдется ни одного, который никогда не мечтал. Мечты бывают разные, не только по содержанию, но и по характеру. Например, есть даже понятие: недостижимая мечта. В то же время в мечте есть что-то от надежды. И где проходит граница между надеждой и мечтой, очень трудно сказать. Вопрос состоит в следующем: мечта облегчает жизнь или делает ее еще более горькой и тяжелой? Если эта мечта — нечто реализуемое, тогда это не мечта, а нечто вроде психологической подготовки к действию. «Настоящая» мечта должна быть, по-видимому, именно недостижимой. То есть это переживание, которое нельзя осуществить в реальном мире.

Иногда, конечно, мечта осуществляется, но... Мечта все-таки облегчает жизнь. В мечте всегда фигурирует оттенок: «как хорошо было бы, если бы я мог, или вы могли, или со мной могло случиться...». Я думаю, что в некотором смысле, например, вся био-графия Иисуса Христа есть человеческая мечта. Я мечтал, как, вероятно, и все читатели этих очерков, о чем-то, что мне казалось далеким, труднодостижимым, просто недостижимым, но внутренне необходимым (в тот самый момент, когда мечты эти приходили). Я думаю, что именно необходимость мечты делает ее существенной составной частью психики человека.

Лагерь вмещивался во все стороны жизни. (Я думаю, что отличие советского лагеря от лагеря немецкого, в частности, состояло в том, что немцы легче уничтожали человека, но меньше калечили его душу. Трудно сказать, конечно, что хуже, и вряд ли такие сравнения уместны.) Лагерь ухитрился даже мечту если не убить, то ранить так, что она оборачивалась болью (разбить-то ее нельзя, она не существует в реальном мире, а живет только где-то в области эмоционально-разумного).

В самом деле, вот вы имеете свободный час, выходной день; можете — если погода хорошая, лето — посидеть и помечтать. О чем можно мечтать? Прежде всего — о свободе. Как быть свободным? Буду ли я свободным? Будем ли мы свободны? И об ожиданиях. Ждут ли меня? Надеются, что я вернусь? Смогут ли они посмотреть мне в глаза? Не станем ли мы чужими? Не забудем ли друг о друге?

А лагерь тебе шепчет: свободы не будет. Ты попытаешься получить ее сам? Это безнадежно, потому что вся страна «прошита» охраной, доносчиками, очужевшими людьми, которые готовы на все, лишь бы сохранить свое «карточное» благополучие. Из этих людей, может быть, многие и хороши, но они действительно не имеют права жертвовать своими детьми, которые будут буквально распяты, будут ходить с клеймом.

Начнешь мечтать о свободе, и сразу выползает: граница «прошита», все близкие люди боятся, далекие сами пишут доносы — отправляют людей на каторгу. Только начнешь мечтать, как на тебя нахлынет весь ужас страны, сплошь превращенной в застенки и тюрьмы.

Убил лагерь мечту. Казалось бы, он ее должен породить, человек должен мечтать, чтобы ему было легче, хоть немного. Нет, убита мечта, ничего нельзя сделать из того, что ты хочешь, о чем ты мечтаешь. Мечтать о свободе? Какая свобода может быть у тебя? Даже если завтра станешь более свободным — все равно несвободным.

Вспоминаю, как я был в ссылке уже после лагерного заключения. Я не мог ничего делать не творчески — такой «дефект» заложен в генах. Поскольку я работал как ссыльный в геофизической конторе, проводившей разведку нефти в прикаспийской полупустыне (в Гурьеве), то я стал заниматься геофизикой. Естественно, мне хотелось чего-то нового, и я заинтересовался ядерной геофизикой — совсем молодой областью. Неожиданно у меня это пошло. Пошло хорошо, и получилась продукция — статьи, и хорошие. И я стал их посылать в геофизический журнал в Москву. Не помню, как называлась первая статья, но я быстро получил на нее ответ, что она не может быть опубликована, так как не имеет отношения к геофизическим научно-техническим проблемам. Тогда я был моложе, энергичнее — взял и заменил название, вставив в него слова «геофизика» и «ядерная геофизика». Отправил. Тут я до-о-олго не получал никакого ответа, и все-таки он пришел: моя статья не имеет прямого отношения к прикладной геофизике, ее надо направлять в теоретический геофизический журнал, который печатает такие работы. Я послал туда. Эффект был великолепный. Мне ответили, что статья представляет безусловный интерес, но в настоящее время по техническим причинам не может быть опубликована, так как требует для набора латинских и греческих букв, которых у них нет. Тогда эта статья так и осталась неопубликованной.

Вот весь ужас системы. Редакция одного из этих журналов находилась, как я потом выяснил, в том же помещении, где и все Управление геофизическими работами в Москве. Понятно, что ссыльного нельзя печатать. Нельзя так нельзя. Но что самое страшное в этой ситуации? Возьмем Америку — все решает доллар. Жестоко, но, по крайней мере, ясно. У нас же все иначе.

Например, приезжал проверять нашу работу член редколлегии одного журнала. Как он изволил выразиться, публично притом, он приехал, «чтобы мне вставить рашпиль» за то, что я снял партию с работы. А снял я партию потому, что при морозе и ветре работать было нельзя — не было одежды. Это же полупустыня! Партия же состояла в основном из ссыльных, вольных было немного. В результате вместо «рашпиля» мы нашли общий язык, и он мне «устроил», — та самая статья была опубликована.

Значит, вместо дискриминационного, жестокого, но единого механизма — доллара на сцену выходит механизм случайностей. Или хороший человек попался, или у него двоюродный брат сидел, или у него ребенка не взяли в институт — он тебе что-то сделает. А иногда срабатывает еще и какой-то бессознательный механизм вины, человек начинает думать — вроде бы он ни за что сидит! Не могу ли я помочь...

Мне удалось выиграть несколько месяцев жизни именно за счет этого. Потому что жизнь ссыльного и лагерника — это существование, а не жизнь. Когда я был заключенным в Ухте (правда как начальник электрогеофизической партии я был расконвоирован), приехали москвичи, культурнейшие люди... Единственной из них, кто не боялся подать мне руку, была дочь советского посла во Франции, Сурис, по-моему. А все остальные бежали от меня как от чумы. Наедине со мной никто не рисковал оставаться, никаких разговоров не вели. Только она согласилась взять письмо!

О чем же мечтать? Мечтать, выражаясь на математическом языке, надо уже о второй производной. Сначала надо встретить человека, в котором незримо для тебя коренится возможность помощи, затем обратиться (преодолев барьер — он всегда существует, а здесь он особенно высок) к нему за помощью и, может быть, в зависимости от случайных обстоятельств, эту помощь получить или не получить. А где же мечта? Она где-то там осталась, далеко... и мечтать не хочется.

Вместо какого-то просветления (может быть, это громкое слово), которое несет мечта, опять страшный мрак неизбывности. Не будет ничего. Даже если ты освободился, за тобою будут смотреть сотни глаз. Даже если ты встретишь человека, никогда не будешь знать, кто он, потому что доносчиков, палачей, мерзавцев так много, что вероятность встретить хорошего человека делается очень маленькой. А что значит хорошего человека? Это значит — такого человека, который все понимает и при этом не боится. А таких людей не так уж много. Вот поэтому лагерь убивал и мечту.

Или надо было мечтать так: вот придет Гитлер, он нас освободит. Но это чудовищная, гнусная мечта, она калечила человека. Еще хуже было в лагере, когда человек начинал мечтать, что он «допишется» до прощения. Были и такие. Все прекрасное, что есть в человеческой мечте, исчезало для них.

Недавно я прочел в газете, какой хороший был в Норильске начальник Завенягин, якого пекшийся о несчастных заключенных. Наше впечатление о нем (я с ним один раз разговаривал, он вызывал меня к себе) совершенно другое. Это был палач, но хитрый. Палачи часто прямые люди, а это был хитрый палач.

Не могу не вспомнить один характерный эпизод. Произошел взрыв в шахте, стоим мы, по четверо в ряд, а лейтенант читает нам приказ: «Кто спустится в загазованную шахту спасти людей, будет отсылки освобожден!». И я стоял. Я, правда, не помню сейчас, верил я этим обещаниям или не верил, хочется похвастаться, что не верил, но боюсь, что все-таки верил... или хотелось верить. Я стоял в пятом или шестом ряду, а люди третьего и четвертого рядов прорвались туда, где большинство уже были трупами, и наши услуги не понадобились... Позднее я узнал, что тех, которые прорвались, вовсе не освободили. Дали им какую-то награду — добавочную пайку, перевели в ИТР-овский барак — была такая «хорошая» форма, но — не отпустили. А одного взяли в шарашку. Он остался заключенным и умер в этой шарашке. Одну из таких шарашек пережил А. Солженицын, в другой — умер декан физического факультета Ленинградского университета, большой ученый, профессор Виктор Робертович Бурсиан.

Внутренний страх обуревал души большинства людей. Страх — лагерь без переписки, барак, который на ночь запирается на замок, расстрел, дополнительный срок. Ну что ж, человек начинает мечтать о ближайшем. Хорошо бы мне нового срока не дали, хорошо бы... А давали. Мечта, мечта... Как жизнь в стране была скручена, так это было и там, но там был превзойден предел упругости. А на воле он где-то — не везде — был еще не превзойден. Не все стало гнилью, не все стали подонками, не все разложилось окончательно, хотя и многое. Не случайно мы столько лет не можем выбиться из *этого*. Даже трудно сказать, что такое — *это*.

Мечта, мечта. А жизнь уходит. Даже помечтать не дают. Острые уже: «Ты слышал? Ну куда идти на свободу? Пол-литра стоит 10 рублей. Пропал, кто на воле». Пропал тот, кто пришел на эту волю из этого пародийного мира — советского лагеря. Недавно я читал какой-то детектив. В детективах обычно фигурирует тюрьма. Есть такое понятие — философия тюрьмы. Вся философия тюрьмы у американцев состоит в том, что человек приходит в тюрьму, может быть, и не таким хорошим, но выходит оттуда последним гадом, мерзавцем, душевным калекой, психически травмированным. Это из американской тюрьмы, где, говорят, кормят неплохо, телевизор бывает. А у нас? Про поколение, прошедшее первую мировую войну, говорили — «потерянное». А мы говорили об искалеченном поколении. Если искривить, исказить все, что есть в человеке хорошего, сокровенного, — его мечту, то что же тогда останется?

Нефтешахта

В Ухте, центре Ухтижимлага, находится единственная в бывшем Советском Союзе нефтешахта. (Мне кажется, еще одна такая шахта есть во Франции.) Естественно, что это накладывало свой отпечаток и на жизнь, и на структуру Ухтижимлага. Когда речь идет о таком уникальном производстве, как нефтешахта, невольно всплывает в памяти роман А. Хейли «Аэропорт». Этот жанр представлялся мне не слишком удачным гибридом научно-популярного описания и художественного произведения. Но при попытке рассказать о некоторых событиях, которые имели место в нефтешахте и около нее, я быстро убедился, что без описания самой нефтешахты как некой хотя бы декорации этих событий обойтись очень трудно. Читателю невозможно представить те или иные события, нюансы, обусловленные тем, что все происходит на глубине 200—300 м от поверхности земли, в клети, в штреках, в забое и т.д. Многие окажутся непонятым.

Что же представляла собой нефтешахта? Как в любую другую шахту, в нее спускаются в клети только на относительно малую глубину; затем идут в разные штреки, на разные уровни, в основном в диапазоне 200—300 м. Зачем нужна такая шахта, аналогов которой нет в других местах? Дело в том, что нефть этого месторождения очень вязкая, и она самотеком на поверхность земли не идет, обычными методами ее добыть нельзя. Что можно сделать? Одно из решений таково. Снять часть глубины (приблизительно 200 м породы) и уже с этого уровня начать бурение. Тогда останется самотеку нефти всего метров 20, а не 220. Эти 20 м создают ряд проблем. Во-первых, общие шахтные проблемы — штольни, штреки и т. д. Во-вторых, для того чтобы бурить даже на 20 м, надо иметь в штреке нечто вроде маленького зала, чтобы в этом небольшом «фонаре» или, еще говорят, «колоколе» разместить оборудование и пробурить 5—6 скважин. На 20 м подъема давления нефти хватает. Возникает проблема транспортировки нефти, добытой из мелких скважин в шахте. Задачу решили так: где-то в конце штрека устроили большой пруд с водой, а вдоль штреков, по кюветам, бежит вода. Нефть из скважины выливается в воду, но не смешивается с ней: вода бежит и несет на себе нефть. Затем вода уходит вниз, нефть остается наверху и откачивается. При взгляде на поверхность подземного озера приходит в голову (детские впечатления очень крепко сидят в человеке), что это подземное море из «Путешествия к центру Земли» Жюль Верна. Озеро это я видел редко, потому что мы работали далеко от него.

Таким образом, эксплуатация месторождения с помощью нефтешахты создает проблемы строения самой шахты, бурения мелких скважин, подачи нефти от скважин на бегущую по кюветам воду, отгона нефти с водой, разделения их, откачки нефти на поверхность.

Все это создает потребность в новых, необычных специальностях. Поэтому в нефтешахте рабочий люд — не обычные шахтеры, они владеют гораздо более сложным конгломератом связанных между собой профессий. В конце штрека расположен забой. В те времена забойщики работали ручными бурами, бур упирался в плечо... При этом бурение породы идет таким образом, чтобы по определенной сетке образовались каналы глубиной в несколько десятков сантиметров, куда закладывается взрывчатка: взрыв, разрушенная порода грузится в вагонетки и увозится. В угольной шахте это и есть то, что надо добывать. В нефтешахте — это способ приближения к нефтяному пласту. Причем бурить надо так, чтобы не уйти от нефтяного пласта, чтобы он все время был, так сказать, под наблюдением. Надо учитывать, что нефть находится под давлением. Нефтяной пласт — это пропитанный нефтью песчаник. Работа осложняется еще и тем, что в нефтешахте метан прет — будь здоров (в отличие от угольных шахт, где метан — природный газ — если и присутствует, то не является, так сказать, основным компонентом). Это понятно: и метан, и нефть — углеводороды.

Поэтому в нефтешахте большую роль играют исследование самой мелкой скважины, например диаметром 3 дюйма, и исследование разреза самой скважины, — т. е. какие породы она проходит, и изучение забоя. Чтобы изучить 20-метровый разрез, проводятся такие же геофизические исследования, как на скважинах, начинающихся с поверхности. На многожильном кабеле спускают соответствующее устройство, ска-

жем, зонд с несколькими электродами, он дает по кабелю сигнал наверх, и получается диаграмма, дающая характеристику пород. Эти работы — изучение нефтегазосного разреза — называются «каротажем». Происхождение этого названия путаное и сложное, потому что *carotte* — по-французски «морковка», но и «обман, надувательство»... Впрочем, это и не очень важно. Смысл геофизических исследований в том, чтобы обойтись без вынимания кусков породы, что дорого и тяжело. Поэтому в нефтешахте появляются каротажники, которые должны изучать разрезы скважин, смотреть, как ведет себя нефтеносный пласт.

Регистрирующий прибор имеет электроконтакты. Нарушение контакта вызывает искру и может вызвать взрыв, если концентрация газа достаточна. Нефть, конечно, получалась недешевая, но она оказалась полезной: ее использовали, когда фашистские войска отрезали Грозный и Баку. А газ для получения сажи — это тоже очень тяжелое производство.

На поверхности земли были ямы, в которых стояла нефть, в ней булькал газ, и местные люди лечились, залезая в эту жижу. Оказалось, что эта нефть содержит большое количество радиоактивных веществ. В Ухтижимлаге был специальный промысел, который занимался их выделением из самородной нефти. Радиоактивные вещества отправляли в Ленинград или Москву для исследования в Радиевый институт. Охрана, которая обычно перевозила эти емкости, подкладывала их себе под голову в поезде и мирно спала... А что потом происходило с охранниками — лучше не знать.

В этой шахте мне довелось быть как в роли бурильщика, так и каротажника. Когда я закрываю глаза, я вижу штреки, штольни, ощущаю специфический запах, и все для меня окрашено одной песней: «Крутится, вертится шар золотой. Крутится, вертится над головой». Это странное сочетание — черное подземелье, гнетущая атмосфера и эта песня, в которой мы еще заменяли «голубой» на «золотой»... По этому шумовому оформлению (а наше пение иначе как шумом назвать трудно) рабочие определяли, что наша каротажная группа (пять человек) шла по штреку, распевая песню, которая, казалось, не могла иметь никакого отношения ни к шахте, ни к бурению, ни к забою — эта песня была воспоминанием о солнце. Особенный успех в нашем исполнении — осипшими, голодными голосами — имели слова совершенно не относящиеся ни к чему: «Кавалер барышню хочет украсть».

Идем по штреку. Сначала освещение хорошее, потом, когда мы подходим ближе к забою, остаются только лампы, надетые на шахтерские каски. Буры несем на плече. Тишина. Мы закрыты 200-метровой (с лишком) толщиной различных плохо проницаемых пород. Для того чтобы нефть где-то скопилась, она должна быть подстелена и перекрыта плохо проницаемыми (а значит, плохо тепло- и звукопроводящими) горными породами.

Доходим до забоя, располагаемся. Стараемся все делать не спеша. Причина проста — когда некое (гораздо меньшее, чем положено) количество бурок будет сделано, в них заложат аммонал, мы отойдем на расстояние, вдвое большее, чем определено инструкцией, и аммонал взорвет, а следов нашей «недоработки» не будет. Взрыв в забое все покроет. Под этим была и лагерная основа: «Без туфты и аммонала не построили б канала».

При взрыве можно было считать себя гарантированным от всяких неприятностей, но тем не менее неожиданности происходили. Это объяснялось тем, что взрывная волна распространялась как по воздуху в штреке, так и по горным породам, а породы были разные — некоторые хорошо передавали удар, а другие — плохо. Возникло смещение пород как горизонтальное, так и под углами. А так как забойная зона не была еще укреплена, то при взрыве рушилось довольно далеко от самого забоя. Но это никого не волновало — там же работали заключенные. Вольных людей ни в шахте, ни в забое не было. Вольные сидели около клетки и регистрировали количество спустившихся рабочих.

Однажды мы попали в ловушку. Породы оказались такими, что взрывом в сочетании со взрывной волной, идущей по воздуху в штреке, разрушились достаточно далеко. А мы, привыкшие ко всему, поленились отойти подальше, и породы рухнули там, где мы стояли. Кому как везет в жизни. Мне в мелочах везет. Глыба упала мне на голову, а на плечо, сломала ключицу и повалила меня. Моих товарищей я сразу потерял из виду, но слышал стоны. Было больно, но можно было дышать. Какая-то странная кар-

тина — ты лежишь, кусок этой породы настолько тяжелый, что вылезти из-под него не можешь, а он тебя не убивает... только неприятно, что в рот попал песок. Никто не знает, что будет дальше. Во-первых, мы не общаемся, во-вторых, не знаем, когда придет помощь, в-третьих, не произойдет ли взрыв природного газа. Ну и начинаешь думать о вещах, о которых не надо думать: что ты уже не раз умирал... Оказывается, умирать не хочется.

Сколько времени прошло, я до сих пор не знаю. Врач, который починил мне эту кость, ничего говорить не стал, хотя тоже был заключенный. Из нас пятерых я оказался в лучшем положении: кто получил удар по голове, кто по животу, все были в ужасном состоянии. Когда нас откопали, я даже мог идти, только несруку. Понял я одно: неохота так уйти в мир иной — беспомощным, жалким, лишенным человеческого окружения.

Подняли нас наверх и сразу в больницу, мне что-то починили, правда, я ухитрился потерять сознание, может быть, не столько от потери крови (она была мала), сколько от страха, что того и гляди сохну. Направили меня на комиссию, которая тут же вынесла решение, что на работу в шахту такого типа, как я, отправлять нельзя, потому что я «психованный». Сейчас я уже не помню, насколько я представлялся, а насколько действительно был психованный, — наверное, немножко был. В результате комиссия «комиссовала» меня. Она решила, что я и все мои товарищи для работы в шахте не годимся, а куда годимся — неясно.

Все-таки меня спустили в шахту с пометкой: «временно» и на легкую работу. И началась моя каротажная карьера. Легкой работой сочли каротаж маленьких, 20-метровых, скважин, не шурфов для взрывчатки, а мелких скважин. И я еще недели две работал на каротаже, привив каротажникам, хорошим ребятам, ту же песню «Крутится, вертится шар золотой». Работа эта была действительно полегче, и пели мы с удовольствием. Записав разрез скважины электрокаротажем с недозволенной скоростью, мы садились отдыхать, курить нельзя, и начинались рассказы, истории: «а вот я помню...» — то, что в лагере называют «на воле я была высокой блондинкой».

Признаться, я тоже рассказывал. У меня уже был опыт: в предыдущем лагере, когда я попал на штрафной пункт, я «тискал романы» главному «начальнику» заключенных (тоже заключенному, «медвежатнику» Курносову), мои истории были стопроцентный плагиат, правда, из разных авторов. Там меня это спасало. А здесь... в рассказах не было ничего особенного по сравнению с тем, что с нами происходило. Один рецидивист доставлял нам много удовольствия своими байками.

Енисей

Я не помню уже даты, да, наверное, это и неважно. Еще до смерти Сталина оставалось года четыре, еще впереди был «процесс врачей»... В Москве обо мне хлопотали разные, довольно крупные в науке и на производстве, люди. Специалистов действительно не хватало, а в лагерях занимались не только лесоповалом и строительством железных дорог. Я оказался нужен и попал в Норильск, а из Норильска, по просьбе тогдашнего министра нефтяной промышленности СССР, меня перевели в один небольшой, но важный центр нефтедобычи — город Гурьев на берегу (или почти на берегу) Каспийского моря. Я говорю «почти», так как море тогда уходило (сейчас — город в 40 км от побережья Каспийского моря).

В Норильске, вручая бумагу о переводе в Гурьев, меня спросили: «Как вы хотите ехать? Если с конвоем (ребята хорошие), то бесплатно. Если один, то вот по этому маршруту. Это будет недешево». И он мне дает маршрут: через Красноярск — Челябинск... А я уже сразу решил, что поеду один, и Москвы мне не миновать, какое бы это ни было нарушение... ну посадят на год. Мне, битому-перебитому, это уже не страшно. Я, конечно, сказал, что поеду один.

Короче говоря, меня пустили «ехать одного». Я поехал по неназначенному маршруту: Норильск — по Енисею — до Красноярска, оттуда на поезде в Москву, из Москвы через Астрахань или Актюбинск — в Гурьев. За время пребывания в ссылке я второй раз оказался *без конвоя*.

В Норильске мы грузились в маленькие вагоны узкоколейки, которая связывала Норильск с пристанью Дудинкой на Енисее. Поскольку пришлось ждать парохода более суток, то мы съездили посмотреть на северное море. Серо-стального цвета ходят огромные волны, ощущение почти... так должен выглядеть Ахерон или что-либо подобное.

В поезде — едущие в отпуск или демобилизующиеся вохровцы (самый низший слой тюремно-лагерного аппарата) и освобожденные — радостные, что убегают из этого норильского почти ада. Все, конечно, напились, что и где они достали, черт их знает, и всю дорогу пели песни. Радость была неопишная, она сияла на всех лицах, а песни пели только грустные, печальные. Красные распаренные лица, запах перегара — в эти маленькие вагончики было набито людей больше, чем в обычные большие вагоны. Интересно, что в том поезде (5—7 вагонов) практически не было женщин, — одни мужчины.

Может быть, потому, что уж слишком велик был контраст между радостью, светившейся в глазах, и грустными песнями, я и запомнил некоторые из них. Именно в них, а не в официально-блатных (есть и такие) выражалась душа тюремного жителя, лагерьной крысы, зека. Хочется жить, хочется радоваться, а ничего, кроме грусти, печали и тьмы впереди не видно. Поэтому с сияющими лицами пьяные заводят песни, в которых звучит та самая тоска, которая была уже в XIX веке в песнях ямщиков.

Доехали, вылезли. Потом пришел пароход, и на пристани столпилось людей больше, чем этот пароход может взять на борт. С этого началось плавание до Красноярска. Тут не лагерь, а просто масса людей сидят на своих баулах, уезжают. Есть и женщины. Или уборщицы, попавшие туда неведомо какими путями, или освободившиеся, сидевшие за какой-то вариант проституции. Тут объявился какой-то освободившийся и сказал, что он посчитал: на каждое место в нижнем ярусе парохода, где были общие нары, приходится по пять человек. Мы, конечно: «Ах, ах, ах!»... А он говорит: «Давайте деньги, я вас устрою на вторую палубу, в каютах». Деньги тогда не играли такой роли, как сейчас, но в экстремальной ситуации (как теперь принято говорить) — давайте деньги! Откуда у нас деньги? Стали собирать, буквально с шапкой по кругу, собрали какую-то сумму, которая его удовлетворила, и он в двухместную каюту сунул семь человек. Но все-таки это был не тот ужас, который внизу. И мы блаженствовали.

Произошла сортировка — в одни каюты попали старшины, у которых были деньги, в другие — рядовые вохровцы, в третьи — богатые (по тогдашним временам) освободившиеся, уезжавшие, бежавшие, мало ли... слоеный пирог с массой тонких слоев, причем все слои чужды друг другу, и даже враждебны. В бывшем первом классе ехали, по теперешнему говоря, офицеры, все безумно пьяные, но без той грусти, которая все-таки очеловечивала алкогольные эмоции. На пароходе был буфет. Мы продали последние тряпки, купили водку, шампанское и пили, рассказывая друг другу свои невеселые истории. Особенно загрустили мы от рассказа одного преподавателя каких-то естественных наук.

Когда кончился его десятилетний срок, он, как и многие другие, побоялся возвращаться к «нормальной» жизни и остался в Норильске. К нему приехала жена, которая его десять лет терпеливо ждала. И через несколько месяцев она уехала, оставив его. Буквально бежала. Так далеко разошлись их душевные пути, что жить вместе они не смогли... И вот он изливал душу, желая доказать только одно своим товарищам по несчастью: что он не виноват в том, что она убежала. Он ничего плохого не делал. Ничего плохого не говорил. В их маленькой комнате, которую им дали, он и пол вытирал, и в очереди стоял, он отдал ей последнюю теплую вещь, которая у него была... Но она не могла выдержать, настолько они стали далекими и чужими, как люди с разных планет.

Когда он это рассказал, то и другие начали повествования о своих распавшихся семьях, о пропавших детях, умерших в нищете родителях. Когда мы подплывали к Красноярску, настроение было мрачайшее...

Мы догвариваемся, как будем спать — два места, одна койка над другой, а нас семь человек... Но нас уже этим не испугаешь.

Плывем. Внизу, где нары, среди других женщин оказалась одна, которая, с точки зрения тогдашней морали, была бесстыжей. (По нынешним временам это, может быть, было бы и

не так, но жили-то мы по тем временам.) И она прямо тут на нарах выполняла свои «функции» с одним, с другим, с третьим без каких-либо признаков насилия со стороны мужчин. Как отказаться? Имея последний рубль... Это сопровождалось поднесением стаканчика, соответствующими разговорами с весьма специфической терминологией (в других местах я ее не слышал). Страшно унижительная терминология и для мужчины, но в первую очередь, конечно, для женщины. И в общем, кому-то стало от этого совсем нехорошо. Я представляю себе стариков, пожилых людей, лежавших рядом, когда все это происходило, а она едва успевала перебираться с нижних нар на верхние. Кто-то пожаловался старпому, который всю дорогу не выходил из своей каюты и был беспробудно пьян.

Старпом, очевидно, принадлежал к категории энергичных людей с нереализованным комплексом властолюбия. Он приказал ей собрать баул, подъехал к довольно крутому обрыву с небольшим песчаным пляжем внизу и высадил ее прямо в воду. И пароход дал полный ход. Все это сопровождалось громким хохотом пассажиров и всякими непотребными выкриками. Она кричала и так омерзительно ругалась, что это убивало всякое к ней сочувствие.

Оказывается, что даже постигшее человека несчастье, которое вы воспринимаете как незаслуженное, не вызывает к нему сострадания, если человек реагирует на него в отвратительной, отталкивающей форме. До сих пор я помню, как пароход идет вверх, пассажиры столпились на борту, баба несчастная ревет, вокруг поганая ругань, громкий хохот... Я не помню ее лица, я помню только хохот... Это настолько чудовищно. Казалось, что это происходит во сне...

Даже эти люди были подавлены и растеряны. Она мерзка. Но и поступок команды отвратителен. Кого считать правой стороной? Жизнь не предлагает простых случаев. После этого всего и разговоры на пароходе угасли. Мы едем в мир, который вот так предстает перед нашими глазами.

Проезжали мы мимо деревни, в которой, как говорили, Сталин был в ссылке. И каждый мужик казался нам сыном Сталина, так как все знали, что у него там были сыновья, которые отказались к нему приехать, когда он был уже «великим человеком».

Проехали какое-то место, где в ссылке был «общий любимец» лагерников — Дзержинский. А может быть, он там и не был.

Плывем, доедаем последние куски хлеба. Уже нет ни денег, ни продуктов. В Красноярске все — на вокзал. Я и два товарища пошли искать, где переночевать. В гостиницу — нет денег. Нашли какое-то место, где за остатки тряпок нас пустили на одну ночь. А вечером мы отправились в концертный зал. Большой зал, набитый военными. В концерте выступал Вертинский. Мы прослушали пару песен. А потом он перешел на безобразный «просоветский» репертуар, пел «идейно выдержанные» песни. И несмотря на то, что мы все трое были совершенно разные люди, мы встали и ушли. Это было невозможно выдержать после ссыльного Норильска, вагончиков, этой брошенной женщины...

Мы проезжали Новосибирск, в который ранее меня пригоняли с этапом, когда везли в ссылку в село Ковригино. Тогда мне какая-то старуха дала краюху хлеба, а конвоир ударил ее за это прикладом. Самое страшное — невыразимость внутреннего бунта. Буквально руки сводит от желания ударить, задушить этого конвоира, и... нельзя. Бессмысленно. А внутри все перемальывается, в том числе и уважение к самому себе.

Енисей — прекрасная река, с красивейшими берегами, стеной стоящими соснами и елями...

Юбилейный день

20 июля у меня в некотором смысле слова юбилейный день. Я вообще ко всяким юбилеям отношусь с большим скепсисом, за исключением, таких, как 350 лет со дня рождения сэра Исаака Ньютона. А юбилей типа «Иванову исполнилось 55 лет», кроме смеха, ничего не вызывает. Но вот я попался в эту ловушку.

Сегодня исполнилось 36 лет с того дня, как я получил в Военной коллегии Верховного суда подготовленную Военной прокуратурой (хотя в армии я никогда не был) справку о моей полной реабилитации, аннулировавшую как решение Военной коллегии, так

и решение Особого совещания. Первое было в 1937, второе — в 1949 году. И возникает такое же странное ощущение, которое я испытывал, вернувшись после реабилитации, проходя мимо железных ворот тюрьмы на улице Мархлевского.

Получение этой справки мне не раз хотелось уподобить в некотором смысле второму рождению, — как и многим, наверное, сотням тысяч, а может быть, и миллионам выживших людей... Я был не просто в самом низу социальной пирамиды — она была на нас, зеках, построена. И это отражалось на всем. Об этом очень часто забывают. Говоря о репрессиях, понимают под ними только лагерь или ссылку, забывая о том, что репрессии и отношение к репрессированным проникали во все поры социальной жизни, во все инстинкты, психику, мнения, поступки миллионов людей. Вот пример.

Когда я освободился в первый раз и благополучно удрал из Ухты, где был в заключении, надо было как-то устраивать жизнь. Благодаря Сергею Ивановичу Вавилову меня приняли на работу в Институт геофизики, хотя я не был нигде прописан, что по тем временам полностью исключалось. Надо сказать, что некоторые люди, знавшие об этой «неприятной черте» моей биографии, относились ко мне по-хорошему. Но все официальные организации — профсоюз, партком, администрация — смотрели на меня так, будто боялись, что сейчас я сам взорвусь и этот скромный институт разнесу на части.

По совету умных людей каждый день, идя на работу, я предварительно звонил одному из двух-трех сотрудников, которые не столько симпатизировали мне лично, сколько с пониманием и сочувствием относились к ситуации, в которой я находился. В тот день, когда оперативная группа пришла искать меня, мне по телефону сказали: «Мы вас сегодня не ждем» (как было условлено). И я врванул в Александров, что под Москвой. Многие говорили, что там можно найти приют людям нашей категории. Там тоже негде было жить.

Когда я уезжал из Ухты, у меня в документах была сделана отметка, что я еду в Завидовский район Московской области, в поселок Редькино. В Москве меня «обложили», из Александрова меня поперли, и я кинулся в предназначавшееся мне Редькино. Надо где-то жить, где-то работать. Я пошел на торфоразработки, которые там были. Пожалею, меня берут... добывать торф, отнести... И вот я стал обходить дом за домом в Редькино... Как только хозяин или хозяйка узнавали, откуда я (имеется в виду ГУЛАГ), тут же отказывали. Я обошел 90 % домов. На душу легла такая мгла... Как вдруг в одном из домов, уже на краю Редькина, оказалась старуха, у которой сын погиб в лагере. И она пустила меня на несколько дней в маленький коридорчик, пока не узнает милиция, оперативники.

Прожил я у нее дней десять, работая на этих торфоразработках и занимаясь в основном сочинением собственного некролога, начинавшегося словами: «Все мы знали нашего дорогого редькинца, который каждое утро с завидной точностью отправлялся на производство, чтобы дать нашей стране как можно больше сухого торфа». Это было начало, а дальше шли всякие разговоры, от которых и сейчас создается ощущение одиночества.

А когда я сбежал оттуда, старуха сказала мне, что соседи ей много раз говорили: «Что ты делаешь? Смотри, как бы тебя не замели...». Вечная память тебе, старая.

Одиночество... В это время я стал заниматься не существовавшим еще тогда в Советском Союзе нейтронным каротажем. Сейчас это огромное дело, кормятся институты, масса промысловых партий, а тогда... Наш посол в Венесуэле сообщил министру нефтяной промышленности Байбакову о нейтронном каротаже, который стали применять в нефтеразведке в Венесуэле, а создал его приехавший в Россию один из учеников Энрико Ферми — Бруно Понтекерво. Я с ним ни разу не разговаривал, так как духовно заранее отталкивался от человека, который добровольно приехал в Россию и здесь адаптировался. Хотя, может быть, он и хороший человек, которому просто задурили голову, как задурили ее Лиону Фейхтвангеру, Ромену Роллану, Томасу Манну и некоторым другим.

В лабораторию (созданную по приказу Байбакова), которая занималась разработкой нейтронного каротажа, я попал безо всяких оснований, только потому, что работал в геофизике раньше. Мне довелось работать с прекрасным человеком Г. Н. Флеровым (ныне покойным), совместно создавать аппаратуру, проводить испытания и записать первую в Советском Союзе диаграмму нейтронного каротажа по разрезу скважин.

Эти испытания проходили под Бугурусланом (Самарская область). Остановились в Самаре, потому что дальше должны были ехать на машинах. Мои подчиненные (я был начальником этой партии) — в гостинице, а мне нельзя, так как в паспорте написано: «По статье №... Уложения о паспортах ...» — минус двести с чем-то городов. Куда деться? А ведь я сам из Самары. Эта гостиница представляла некоторый исторический интерес (там когда-то была эсеровская учредилка и штаб чехословаков, уходивших на Дальний Восток), а через несколько домов жили мои родители (и я с ними). В этой квартире жила еще семья доктора. Ну куда мне деться? Пошел я к одному товарищу, с которым учился в одном классе в школе. Очень хороший человек, по-моему, Владимир Носин. Но в это время он оказался далеко (он пошел по аграрной части, работал в каком-то агрономическом амплуа в одном колхозе километров за двести). Было лето, можно было бы ночевать на улице, но опасно: милиция заберет — и тогда будь здоров! И пошел я к нашему соседу, к доктору, жена которого считала меня разрушителем (однажды у нас перегорел свет, по ее твердому убеждению, я был виноват в этом, потому что около выключателя повесил селедку). Сосед меня не пустил. Не пустил переночевать на одну ночь...

Я пошел на набережную Волги и устроился спать на скамейке. Никто меня не тронул. И все же: когда вы ночуете на вокзале, вы видите, что кругом такие же люди, а тут — ты изгой. И начинаешь себя действительно чувствовать врагом народа. Народ тебя отталкивает. И жители Редькина не пускают тебя жить. И человек, на глазах которого ты вырос, тебя не пускает. В гостиницу тебя не пускают. В твоей геофизической партии есть человек, который не скрывает, что он приставлен...

Провели мы работы. Получили результаты не хуже, чем у американцев. Вернулись. Стали писать отчет. Собственно, я стал писать отчет, потому что начальником этой лаборатории был специалист по гидравлике, партийный деятель «с высоким пробивным градиентом» и понимавший, кого надо брать. А по просачивавшейся информации я чувствовал уже, что дело плохо.

У возвращавшихся из лагерей было два пути — забиться ко всем чертям подальше, в какой-нибудь крошечный колхоз, откуда хоть три года скачи — ни до какой границы не доскачешь; или потонуть в море людей в Москве, в Ленинграде. И все равно система настолько была пронизана доносом, что уже и «отдельных» стали забирать. «Органы» ждали, когда я закончу отчет: никто другой его грамотно написать не мог бы. В те времена специалистов, да еще в такой области, было мало, действительно, единицы. Не больше пяти человек.

Я уже заканчивал отчет. Настроение улучшалось. Я собирался удрать из Москвы якобы в отпуск. Но неожиданно мне позвонил секретарь парткома Московского нефтяного института (лаборатория была при Нефтяном институте) и сказал, что хотел бы поговорить со мной минут через сорок. Звонок партийного секретаря меня, естественно, не вдохновил. Может быть, ему нужно было что-нибудь, но я все-таки решил смыться. Вместо того чтобы вскочить и убежать, я, дурак, еще что-то там дописывал... ненужная честность и ответственность. Выхожу — на лестнице стоит один. Я направо (лаборатория была в полуподвальном помещении). Там еще двое стоят. Все. Взяли они меня втроем. Секретарь парторганизации выполнил распоряжение «органов» и задержал меня.

Все сотрудники молчали. А что можно сказать? Только одна ревели. Увезли.

Попал я в тюрьму на улице Мархлевского. Камера была переполнена — это был уже декабрь, когда Сталин распорядился убрать «эту сволочь». (Ему доложили, что к ним, то есть к нам, прислушивается народ.) И — повторение.

Интересным среди сокамерников был только серб, полковник. Он был подданным Югославии, но в это время Сталин повздорил с И. Броз Тито и поэтому его посадили. Камера была по числу коек, наверное, человек на восемь, а набили в нее человек пятьдесят. Самый разнообразный народ. Но разговор был только об одном: будут бить или не будут. (Все были — «второй призыв».) Когда начали вызывать на допрос, выяснилось, что не бьют, а только требуют подписать какой-то никому не нужный протокол, в надежде поймать человека на том, что, вернувшись, он вел какую-то агитацию или что-нибудь в этом роде. Удастся — хорошо. Не удастся — неважно.



Спецлаборатория Московского нефтяного института. 1948 г.

*Сидят (слева направо): Балясов А. А., Полак Л. С., Иванова А., Раевская Е. А., Дарвойд Г. Н.
Стоят (слева направо): Тареев И. Н., Сибуров В. К., Крутиков А.*

Тюрьма была набита так, что дышать невозможно. Там я встречал лежа (к счастью, была моя очередь лежать) Новый год с человеком старше меня; он выжил тоже, но сейчас уже умер. Литературовед, специалист по Достоевскому. Фамилия его была Переверзев. Затем нас отправили из внутренней тюрьмы на улице Мархлевского по этапу.

Я был в ссылке. И вот прошло еще восемь лет. Сначала село Мотыгино (Ковригино) Удерецкого района Красноярского края. Потом я был на геологической разведке, где произошла история с портретом Берии*, затем в Норильске, а из Норильска попал в Гурьев. И там с меня сняли ссылку, и я мог уехать, хотя было неясно, где жить. С каким-то щемящим чувством я вспоминаю, как уезжал под пенью моих товарищей, которые за меня радовались...

... Наконец пришло время получать эту бумажку о реабилитации. Я не знаю, что чувствуют приговоренные к смерти, когда им сообщают о помиловании. Но когда тебе дают бумажку, что ты ни в чем не виноват, что тебе еще за два месяца зарплату выдадут (это за двадцать-то лет!), что ты имеешь право на получение вне очереди квартиры в городе, в котором был арестован... (в первый раз я был арестован в Ленинграде, второй раз — в Москве), и полковник или подполковник (а может быть, майор, я тогда уже ничего не видел) пожимает тебе руку и рекомендует идти в ЦК КПСС восстанавливаться... Не только я, но все мы чувствовали себя «душевно поседевшими». Одинокие. Потерявшие все. Большинство потеряли родителей, потеряли жен, детей. Опять одинокие, опять чужие и отвергнутые.

Была женщина, грузинка (фамилия вроде Гогуа). Она работала, кажется, у Енукидзе, расстрелянного секретаря ЦИК. Она освободилась и реабилитировалась раньше нас. Дочь ее оказалась в Москве. Мать пошла к ней, а дочь ее не пустила... Наверное, были и другие случаи, когда обогревали приехавших... Да, не пустила... Но судьба не позволила оборвать эту драму так. Потом дочь бросил муж, и она решила уехать в Тбилиси, где за это время устроилась жить ее старуха-мать. Дочь пришла к матери, и мать приняла. Мы много спорили по этому поводу: так ли надо было поступить или выгнать ее? Не является ли всепрощение источником зла?

* См. ВИЕТ. 1992. № 3. с. 167.

Я был реабилитирован. За помощь, за ускорение этого процесса (в этой жизни все переплелось и перепуталось) я должен благодарить (я выиграл несколько месяцев жизни) двух людей, мне не только абсолютно чужих, но и чуждых по своим жизненным взглядам и установкам. Почему они взялись мне помогать? Потом я с одним из них, так сказать, расплачивался. А другой вскоре умер. Он был настоящий боевой офицер. У него было, по-моему, 23 ордена: один из них — за подавление Будапештского восстания; и я уж не знаю, за что остальные 22. Возможно, эти люди чувствовали, что что-то неладно. Но вот от этого неоформленного чувства никуда сдвинуться не могли, кроме как кому-то немножечко помочь. Но это, вероятно, тоже хорошо. Это значит, что человек, в общем, добр — злым и ужасным делает его общество. А в обществе проклятая принудительная идеология, порождавшая и мерзкое «двоумыслие», по Оруэллу. Если же человек, хотя бы внутренне, свободен от ее официальных уз (церковь, коммунизм, фашизм и т. п.), то он по-своему видит как мир в целом, так и его детали. И действует своеобразно. Вот пример.

У меня имеется сохраненная моим отцом, защищавшим осажденный фашистами Ленинград, рукопись отзыва обо мне замечательного русского ученого — математика и кораблестроителя, адмирала, академика, профессора Военно-морской академии Алексея Николаевича Крылова (мне довелось быть одним из его учеников и по его рекомендации преподавать адъюнктам этой Академии вариационное исчисление).

Отзыв написан в 1937 году вскоре после моего первого ареста и кратко дополнен в 1944 году, когда я уже лет семь был «простым советским заключенным». Не надо только забывать, для кого этот отзыв предназначался (он был направлен В. М. Молотову и в Прокуратуру СССР). Трудно теперь, спустя более половины столетия сказать, кого этот отзыв больше характеризует — его объект или оригинальную, многогранную личность автора.

Итак, привожу отзыв А. Н. Крылова с небольшими сокращениями.

По постановлению Президиума Академии Наук СССР летом 1935 года был принят в аспиранты Академии Наук Л. С. Полак, окончивший Ленинградский Государственный Университет и оставленный при Университете.

Президиум Академии Наук поручил мне оказывать содействие аспиранту Полаку в его научной работе и в написании диссертации на степень кандидата. Академик С. И. Вавилов поручил Полаку написать для «Архива науки и техники» статью «Лагранж и принцип наименьшего действия», в связи с предстоящим в начале 1936 года 200-летием со дня рождения Лагранжа. Превосходная статья Полака показала как математический талант его, так и его большую эрудицию, далеко выходящую за пределы университетского курса.

Темой для своей кандидатской диссертации аспирант Полак избрал обозрение оптических и механических работ знаменитого английского математика, ирландца родом, Гамильтона. Представленная им программа была настолько обстоятельна и интересна, что академик С. И. Вавилов признал возможным включить эту работу в серию научно-технических изданий Академии Наук.

Я предложил Полаку работать в моем служебном кабинете в помещении Физико-математического института и пользоваться личной моей библиотекой.

Л. С. Полак отнесся к своей работе в высшей степени добросовестно — он изучил работы Гамильтона не в передаче их другими авторами, а по подлинникам, пользуясь библиотекой Академии наук в изданиях английских «королевских обществ», т. е. «английских Академий Наук» Дублинской и Лондонской, полные комплекты которых имеются в библиотеке нашей Академии Наук — в то время даже первый том полного собрания сочинений Гамильтона еще не вышел из печати.

Изучение подлинных работ Гамильтона представляет большие трудности и требует больших познаний по математике. Л. С. Полак вполне справился с этим трудом.

Защита им диссертации «Принцип стационарного действия Гамильтона» была блестящая, так что оппонентам академику С. И. Вавилову и мне, можно сказать,

приходилось указывать не на недостатки диссертации, а на ее достоинства, о которых Л. С. Полак в своем вступительном слове умолчал.

Ко мне в служебный кабинет приходили для консультации по проектам коммерческих судов и ледоколов корабельные инженеры из ИНИВТа и Судопроекта, и мне приходилось рассматривать эти проекты и давать о них отзывы.

Л. С. Полак, работая рядом, заинтересовался морской историей за наиболее любопытный ее период англо-голландских и англо-французских войн, т.е. конца XVII столетия, через век XVIII до 21 октября 1805 года, когда Трафальгарским сражением больше чем на сто лет было упрочено морское могущество Англии.

Казалось бы, морская история — предмет совершенно далекий от специальности Л. С. Полака, но здесь он поразил меня своей способностью быстро разбираться и в течение 2—3 дней как бы в виде отдыха от своих занятий по специальности верно усваивать самое существенное в содержании такого обширного сочинения, как, например, двухтомное жизнеописание Нельсона на английском языке, и провялять правильное понимание дела, в чем я не раз убеждался беседами с ним.

Вот эта-то редкая способность усвоения сущности дела и верного его понимания даже вне области своей специальности вселяла в меня убеждение, что Л. С. Полак обещает стать выдающимся ученым.

Насколько помню, в начале 1937 года мне было сообщено отделом кадров Академии Наук, что Л. С. Полак ввиду его ареста и высылки из Ленинграда от Академии Наук отчислен.

Причина ареста осталась для меня неизвестной и непонятной, т. к. я ни разу не замечал, что Л. С. Полак позволил себе проявить малейшую неуместную критику или малейшее некорректное или неуважительное выражение по отношению к советской власти.

Этот отзыв был мной написан в 1937 году. С тех пор я узнал, что Л. С. Полак был сперва выслан в Сумской посад, где ему было поручено заниматься в финансовых учреждениях. В 1940 году он был переведен в Ухту, здесь ему поручено было вести разведку на нефть, производя геофизическую съемку и так называемый „карротаж“, т. е. электрическое исследование пробных скважин и по результатам этих исследований определять весьма сложным математическим расчетом глубину и область залегания нефти. Для этого расчета и нужны были познания Полака.

Теперь эти исследования им вообще закончены и для текущей работы такой тематики, как Полак, не нужен, поэтому он просит о предоставлении ему другой работы по специальности, по усмотрению Спецбюро; я позволяю себе поддержать эту просьбу, ибо, например, приборы радиолокации или им подобные дадут ему возможность с пользой применять свои математические познания.

Академик
Герой Социалистического Труда
А. Н. Крылов
Москва 21. X. 1944.

А я был полностью реабилитирован только в 1955 году, когда реабилитация стала массовой, и первое время меня обуял писательский зуд. Я писал буквально по статье в месяц. Статьи все негодные. Теперь я в этом убежден. Но я должен был «отписаться», то есть иметь возможность как-то отстранить от себя мои собственные мысли. Вот (опять) как чувствует себя приговоренный к смертной казни, когда приходит помилование. А ведь мы думали, что у нас в будущем — беспросветность.

Сейчас говорят, что никто не ждал вот этого теперешнего... Но никто не ждал настоящего и хрущевской «оттепели». Все болезни оставляют шрамы, и только кажется, что они проходят.